
АЛЕКСАНДР ЖОЛКОВСКИЙ



«ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» И ДРУГИЕ ВИНЬЕТКИ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ

Так назывался один из итальянских фильмов нашей оттепельной молодости («Guardie e ladri», 1951; реж. Стено и Моничелли). Среди прочего там есть эпизод погони — самой, думаю, медленной за всю историю кинематографа: бегут как могут два очень немолодых человека. (Медленнее бежал, наверно, только Ахилл за черепахой Зенона.) Да и к чему торопиться? Отношения между полицейским (Альдо Фабрици, 1905 — 1990) и вором (Тото, 1898 — 1967) складываются в фильме вполне конструктивные (далее спойлерить не буду). Еще более забавный симбиоз обнаруживается между итальянским контрабандистом (тот же Тото) и французским таможенником (Фернандель, 1903 — 1971) в фильме «Закон есть закон» («La loi, c'est la loi», «La legge è legge», 1958; реж. Кристиан-Жак).

А вспомнил я обо всем этом, подыскивая заглавие к этой виньетке.

Где-то у Гандлевского я прочел, что знакомый психиатр (судебный? тюремный?) рассказывал ему, что, когда в лагере заключенные смотрят детективные фильмы, они болеют не за близких им *bad guys* — жуликов, воров и бандитов, а за *good guys* — следователей, ментов и их добровольных помощников. Невероятно, но факт! Такова, ничего не поделаешь, сила искусства или, выражаясь по-научному, организация точек зрения в художественном тексте.

Иначе как бы могло получиться, например, что твоя чиновная коллега в часы, свободные от заведования, преподает Толстого, которого и вообще искренне любит, но болеет почему-то не за князя Василия и Каренина, а за Пьера, Анну и Левина.

А другая коллега всю жизнь пишет о Зощенко и Булгакове и не только сама не замечает, но и никто вокруг помыслить не смеет, что ей место рядом не с мастером и Маргаритой, а с корыстной молочницей и Шариковым.

Или, что Хлебниковым ведают люди в тройках и при галстуках, носящие свои сочинения не в наволочках, а в солидных портфелях.

Жолковский Александр Константинович родился в 1937 году в Москве. Окончил филфак МГУ, кандидат филологических наук. Филолог, прозаик. Автор трех десятков книг и четырех сотен статей по литературоведению и нескольких сборников мемуарных виньеток. Среди последних книг — «Русская инфинитивная поэзия XVIII — XX веков» (М., 2020), «Все свои. 60 виньеток и 2 рассказа» (М., 2020), «Как это сделано. Темы, приемы, лабиринты сплелений» (М., 2024). Постоянный автор «Нового мира». Живет в Калифорнии и Москве. Вебсайт <<https://dornsife.usc.edu/alexander-zholkovsky>>

И я за собой примечаю И что-то такое пою: Колхозного бая качаю, Кулацкого пая пою, — пишу чеховедческую статью за статьей, как если бы никогда не слышал о профессоре Серебрякове.

...Нас пугают когнитивным диссонансом, пугают — а нам не страшно. Он нас не берет. Но как же тогда с силой искусства? А так. Искусство царствует, но не исправляет.

ОТ ПРИОЗЕРСКА ДО ВЫБОРГА

«На китайско-финской границе все спокойно...» Была такая футурологическая хохма, уже не помню толком, в какие годы. Ее убедительность гарантировалась четкостью языковой конструкции, в которую подставляя географические реалии какие хочешь. И имелась в виду, конечно, пойма не Амура, а Вуоксы, мало кому известной речки на Карельском перешейке. Это бывает. Вот и Арпачай, тоже до поры до времени непримечательный гидроним (а если быть совсем точным, потамоним), обрел всероссийскую славу благодаря аналогичным словесным фиоритурам, правда, подымай выше, пушкинским.

А я там, в районе этой типа энско-финской границы, не постесняюсь выразиться по-телескоповски, был — и на довольно-таки утлом челне пересек весь означенный перешеек, некогда приют убогого чухонца, а в легендарные шестидесятые годы прошлого века — туристскую жемчужину Ленинградской области.

Готовясь взяться за виньетку, я заглянул в интернет и прочел там <<https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/33947>> следующее:

Новый туристский маршрут по рекам и озерам Карельского перешейка длиной в 160 км предназначен для путешествий на байдарках, каноэ и каяках.

Средняя продолжительность маршрута составляет 10 дней. Путь начинается от Выборгского замка и продолжается по Вуоксе до Приозерска. По пути туристы могут не только посетить достопримечательности Ленинградской области, но отправиться за ягодами и грибами.

Маршрут разработан специалистами Центра развития внутреннего туризма и возрождения традиционной культуры «Балтийский ветер» при финансовой поддержке комитета Ленинградской области по туризму. Летом 2020 года сотрудники Центра на байдарках совершили экспедиционный поход, по итогам которого был составлен паспорт маршрута. Подробная карта маршрута размещена на официальном портале lentravel.ru.

Ушлые продавцы балтийского ветра претендуют на роль Колумба, будто бы открывшего Америку, позволяя мне почувствовать себя одним из викингов Лейфа Эрикссона, которые побывали там на полтысячелетия раньше. Дуновение этого бриза я недавно с прустовской остротой ощутил на своих щеках во время очередного велопробега по Санта-Монике.

Велопробег, конечно, громко сказано. Но, подобно зощенковскому Вертеру, в сухую погоду и когда жизнь не особенно дорога, я выезжаю. Правда, с годами сил все меньше — и все чаще вспоминается папин любимый стишок (сочиненный то ли Лядовым, то ли Глазуновым, скорее все-таки Глазуновым, с которым, до его бегства за границу в 1928 году, папа мог быть знаком): *Не могу ходить, Не могу стоять, Не могу сидеть, Не могу лежать, Надо будет посмотреть, Не могу ли я висеть.* Ощущения, как говорится, до боли знакомые, но к своей чести могу сказать, что висеть пока не пробовал, а всем остальным позам предпочитаю велосипедную. Кажется, я

уже писал, что на велике даже с больной спиной чувствую себя неплохо, — как будто в седле родился.

В общем, более или менее ежедневно, в зависимости, разумеется, от погодных условий и состояния здоровья, я честно стараюсь проложить привычный маршрут в тридцать с лишним кварталов от нашей Стэнфорд-стрит до самой Оушен-авеню, то есть Океанской, над пляжем, — обычно по проезжей части Вашингтон-авеню, хорошо асфальтированной, а машинами не забитой (Санта-Моника все-таки полу-город — полу-дачная местность), но иногда, чтобы в жару укрыться от солнца, а в пасмурный день, особенно к ближе к вечеру, чтобы поймать его драгоценные лучи, — по тротуарам, если можно так назвать эти узкие тропки между придорожными деревьями и оградами участков, замощенные неплотно прилегающими друг к другу бетонными плитками, корежащимися под скульптурным напором могучих корневых систем платанов, магнолий и кипарисов. Уф!..

И вот на днях, крутя педалями по этим неровным плиткам и задевая то за ветки деревьев слева, то за кусты и плетни справа, я вдруг вспомнил, с каким наслаждением шесть десятков лет назад я буквально носом раздвигал прибрежные и надводные заросли, сквозь которые пролегал наш байдарочный маршрут.

Было это летом 1966 года в первой половине июля — датировка устанавливается по лелеемому мной автографу Проппа на экземпляре первого издания «Морфологии сказки» (15.VII.1966 г.): напроситься на посещение¹ я сообразил, когда вернулся в Ленинград, где останавливался у знакомых моего тогдашнего старшего приятеля Бориса (Роберта Анатольевича) Канторовича (1925 — 1982) <https://ru.wikipedia.org/wiki/Канторович_Роберт_Анатольевич>, крупнейшего, теперь выходит что, советского вирусолога.

О Борисе и его сексуальном менторстве я уже немного вспоминал². А в этот раз он сыграл совершенно неожиданную роль инициатора байдарочной вылазки, но не привычного мне с давних лет турпоходо-междусобойчика, на выходных, со «своими», на собственных байдарках, в произвольно импровизируемом направлении, с пением полузапретных песен и обсуждением вопросов структурной и прикладной лингвистики, — а вполне официального мероприятия спортивного отдыха, по стандартной путевке и утвержденному маршруту, от турбазы до турбазы, с получаемым напрокат снаряжением, включая байдарки, палатки и десятидневный паек, и, last but not least, в совершенно непредсказуемой компании. Но я полностью доверился старшему товарищу («Кто ты такой, — говаривал Борис. — Я доктор наук, а ты, ты — никто!» — и правда, я еще долго не был даже кандидатом), и в назначенный час мы своим ходом прибыли из Питера на приозерскую турбазу, где поступили под начало инструктора, быстро получили всю полагающуюся нам выкладку и обрели двух юных спутниц, с которыми нам предстояло делить ближайшие труды, дни и ночи.

И обрели мы их не по путевочной разнарядке или команде инструктора, а в порядке свободного и полностью взаимного выбора, каковой, собственно, и составлял одну из главных привлекательных сторон всего этого госу-

¹ См. виньетку «Скромность» (Жолковский А. Звезды и немного нервно. М., 2008, стр. 92 — 93).

² См. виньетку «Фаллократическое воспитание» (фрагмент «Правило Канторовича» в кн.: Жолковский А. Выбранные места, или Сюжеты разных лет. М., 2016, стр. 49 — 50).

дарственно одобряемого начинания. Здесь читатель ждет уж рифмы *розы*, но мне ее абсолютно неоткуда взять, ибо герой моей повести — правда. То есть какая-то заготовка роз, пусть не Гименеем, разумеется, витала в умах четверых здоровых особей обоего пола, добровольно объединившихся под кровом общей палатки. Но когда после массового выпивона у первого походного костра мы заползли в заранее поставленную палатку и Борис, на правах начальника группы, громогласно объявив: «Слушать первый приказ капитана! Всем раздеться догола!», немедленно повалился и заснул, половой вопрос был снят с повестки дня окончательно и бесповоротно. Жалеть ли себя или, кто знает, наших спутниц, не знаю. Отношения в нашей палатке и на двух наших байдарках сложились самые, что называется, рабочие — и безусловно джентльменские. Не помню ни имен, ни лиц, ни разговоров — ничего личного. И никакой черники — наверно, в начале июля для нее было рановато.

Но поездку вспоминаю с удовольствием. Маршрут проходил отчасти по Вуоксе, отчасти по каким-то узким протокам и озерцам, вдоль пустынных берегов, и пресловутое общение с природой реализовывалось во всей своей буквальной прямоте — путем непрерывного скольжения сквозь зелень, то и дело загораживавшую путь. Ощущение, что и говорить, банальное, но тем самым архетипическое. *Если чуть волочить слона по доске, то это в какой-то мере заменит стремительное скольжение на ялике по солнечной, чуть-чуть зацветшей воде подмосковного пруда, из света в тень, из тени в свет. — Пить с веток, бьющих по лицу, Лазурь с отскоку полосуюя...* Ну и так далее. Типично туристский кайф легкой победы над уютно подобранными трудностями.

Некоторые трудности, конечно, были. Одна из них состояла в том, что, как я помнил, а теперь перепроверил, маршрут из Приозерска (то есть, в сущности, Кексгольма) в Выборг означал движение не вниз, а вверх по течению. Но перепад там небольшой, грести на байдарке всегда приятно, впереди маячил Выборг (до тех пор мной не виданный), потом Ленинград (внепланово преподнесший знакомство с Проппом) и вообще вся жизнь, — я был ровно втрое моложе, чем сейчас. А какие-то эротические обертоны и даже сублимированную пенетрацию можно при большом желании вчитать в те же игры со встречными ветками.

СОРОК ПАЧЕК ЭСКИМО

По поводу предыдущей виньетки моя любимая нелицеприятная читательница написала: «Прочла с большим удовольствием, люблю чистоту жанра (когда виньетка без примеси статьи)». Я порадовался, но не без внутренней оговорки, сознавая, что неровен час, монашескую эту чистоту нарушу. И вот, не откладывая, нарушаю — решаюсь записать только что пришедшее в голову соображение об одной рифме у Лимонова. На статью оно не тянет, а пропадет — жалко.

Речь идет о заключительной рифме стихотворения «Когда-нибудь, надеюсь, в ближайшем же году...», одного из тюремных (2001 — 2003)³. Я о нем немного писал⁴, но загадки последнего слова, с его сдвинутым ударением, не касался. Писал же вот что:

³ <<https://coollib.cc/b/139905/read>>; Эдуард Лимонов. Стихотворения. М., Ультра. Культура, 2003. 416 стр. 3000 экз. Стр. 402.

⁴ «Дорожит он этим знаком — быть как все не хочет...» (Рец. на кн.:). Критическая масса, 2004, 1: 35-сл. <<http://www.litkarta.ru/dossier/zholkovsky-limonov/>>.

Заключает книгу пронзительное стихотворение, посвященное *Насте* (с. 402) и магически — благодаря оригинальному сплаву щемящей топки блатного романса, интонации детской песни («Мы едем, едем, едем, в далекие края...»?), очередной присяги Хлебникову (ср. его «Сад») и отсылки к «Двенадцати» Блока (*Что нынче невеселый, / Товарищ поп?*) — примиряющее с *товарищем, красным партизаном и танком* (на котором, согласно анекдоту, советский человек выезжал на отдых за границу, а зека Лимонов планирует отправиться с юной возлюбленной за мороженым).

Дальше я приводил все девять двустийших стихотворения со сплошь мужскими рифмами, а здесь процитирую только финальное:

Мы купим сорок пачек ванили с эскимо
От зависти заплачут, те кто пройдет мимо

Концовка эта — моя любимая, и неправильное ударение на *О* неизменно меня радует. Но все-таки зачем оно? Ну не «для рифмы» же — уж как-нибудь Лимонов с рифмовкой бы справился! И не ради же простого вызова принятым правилам, хотя вызов для него типичен и в этом стихотворении тоже налицо? Так вот, на днях вдруг понял: это же **детский каприз** — поведенческий (сорок пачек) и словесный. Ведь стихотворение все выдержано в «детских» тонах:

Я к маленькому панку с улыбкой подойду <...> Пойдемте, погуляем (не против?) в зоопарк <...> Для маленькой прогулки не взять ли нам ли танк? И эта чудо-девочка, с прекрасной из гримас <...> Мы купим сорок пачек ванили с эскимо От зависти заплачут...

И на закуску — эта по-детски вызывающая неправильно ударенная рифма *мимО*, закрепляющая все вызовы, включая сугубо мужскую рифмовку (как в «Шильонском узнике» и «Мцыри», хотя и в другом размере — более вольном и легком дольнике).

Заодно уж два слова о числительном *сорок*. Я всегда автоматически полагал, что это потомство *сорока тысяч* Гамлета (и последующих русских вариаций — Цветаевой, Ахматовой и других), но сейчас сообразил, что *сорок* — просто магическое число: и в Библии (*сорок дней потопа, сорок лет хождения по пустыне...*), и в русской традиции (*сорок сороков, сороконожка, лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз, мы успели сорок тысяч всяких книжек прочитать...*), к тому же, лексически уникальное, непрозрачное, самовитое. *Сорок пачек* — это эскимо *от* пуза.

Внесу, Наташа, и необходимую личную ноту, даже две.

Эскимо на палочке (изначально за 11 коп.) я в детстве и отрочестве (1943 — 1951) любил больше всякого другого мороженого.

А Настю⁵ видел — когда мы с Ладой пришли в Москве к Лимонову, уже освободившемуся из тюрьмы (и у меня с ним состоялся небольшой диспут о Че Геваре⁶). Его не было дома, открыла Настя, маленького роста, но очень собранная, самостоятельная, деловитая; она впустила нас и тут же ушла, не дождавшись Эдика, — спешила на занятия, кажется, графикой.

⁵ Анастасию Лысого <<https://24smi.org/celebrity/258304-anastasiia-lysogor.html>>.

⁶ См. <<https://ed-limonov.livejournal.com/207801.html>>.

ПОД СЕНЬЮ ОСТИНА В ЦВЕТУ

Речь пойдет о недавнем разговоре с бывшей женой (назову ее, по методу Марка Фрейдкина, условным именем Таня) — на фоне, как водится, более широкого контекста, житейского и словесного.

А случилось это тихим февральским вечером. Лада ушла на концерт (благо недалеко, в санта-моникском Брод Стейдж, пела ценимая ею звезда норвежской оперы Лизе Давидсен, на этот раз слегка беременная, так что концерт чуть не отменился), я немного поскучал, потом немного пописал очередную статью (без напряжения, с опорой на любимые старые наработки), потом заглянул в электронную почту, еще немного пописал, после чего позволил себе отвлечься по полной и решился позвонить Тане, проводящей зиму в наших калифорнийских палестинах.

— Привет. Вот, дерзнул тебе позвонить.

— Почему это *дерзнул*?

Действительно, почему *решился*, почему *дерзнул*? Начать придется издалека.

По окончании МГУ (1959) я получил не только «Диплом», очень твердую тисненую синюю корочку, но еще и «Военный билет» офицера запаса Советской армии — документ паспортного типа в полужесткой дерматиновой обложке. Все стратегические данные обо мне сообщались там на первой же странице, в графах, озаглавленных тонким типографским курсивом (*имя, отчество, фамилия, род войск, звание...*), а заполненных от руки — корявой, но внятной черной тушью. Среди них выделялась графа *состав*, в которой значилось гигантское **КОМАНДНЫЙ**, с тех пор раз и навсегда запавшее в мою филологическую душу — в отдел лексикографии, сектор остроумия, лабораторию каламбуров. Получил этот бесценный документ я в пору первого брака, 1958 — 1965, но своей судьбоносной роли слову *командный* пришлось ждать до заключения второго — с Таней, 1973 — 1983. (Третий, с Ладой, вот уже рекордных четверть века стоит, а четвертому не быть!)

Жены у меня — три законные супруги и шесть неофициальных, но не менее significant others — были все как на подбор умницы и мастерицы своих дел, личности творческие, агентные, сплошь кандидаты наук и профессора, зав. отделами, редакциями и кафедрами, создательницы школ и предприятий, героини сопротивления и разбивательницы сердец (а иные и яиц). Поэтому отношения у нас складывались трудные, характерами мы не сходились и в конце концов расставались в основном друзьями и дальнейший дипломатический контакт поддерживали. Но и на этом неординарном фоне Таня отличалась повышенной доминантностью, и в какой-то момент в моей памяти всплыло словцо из военного билета, а всплыв, не могло остаться непроизнесенным, ну, и вылетело — не поймашь... Все они были, повторяю, прирожденные начальницы, многие еще живы и до сих пор что-то возглавляют, но пальма властного первенства всегда оставалась за Таней. Тут уж ничего не попишешь: *состав* — **командный**.

Так что в ответ на «почему *дерзнул*?» можно было не лезть за словом в карман (дескать, состав-то у тебя, сама знаешь, какой: «Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу капитану?!»), но я был настроен благодушно и сказал, что пообщаться нам все как-то не удавалось ввиду ее всегдашней занятости.

Последние годы Таня стала зимой гостить у дочки в Лос-Анджелесе, вдали от своего заснеженного дома в Итаке, да и от вашингтонского служеб-

ного офиса, куда могла больше не являться, перейдя со штатной должности заведующей на полу-пенсионную заочного консультанта. В прошлом году мы, однако, так и не повидались, если не считать дружеской беседы по зуму, которую все собирались повторить, но так и не повторили и отложили на следующий год. И вот он наступил, но общались мы лишь по имейлу, правда, довольно интенсивно, потому что начались эти ужасные пожары. Санта-Монику они, слава богу, миновали, но Таня регулярно наставляла нас насчет надевания масок, покупки воздухоочистителя и желательности эвакуации — ссылаясь на данные о качестве воздуха и проценте в нем продуктов сгорания асбеста. Мы покорнейше благодарили, но с выполнением инструкций медлили... Сама же она им неукоснительно следовала и в конце концов, не ограничившись установкой воздухоочистителя и ношением масок, переехала из Лос-Анджелеса в Санта-Барбару, где ее и настиг мой дерзкий звонок.

— Да, — заговорила она, — хлопот больше обычного, потому что у нас идут сокращения, мою онлайн-ставку отменили, надо сдавать дела...

— Наверно, Трамп хочет все федеральное передать на места и в частные руки?

— Уверяют, что это ради экономии, но суммы-то ничтожные...

— Если ничтожные, значит, денежная потеря для тебя небольшая...

— Я-то в порядке, но это все глупости...

— А в Л.-А. ты уже не вернешься, так и останешься в Санта-Барбаре?

— Да, мне тут очень нравится. Санта-Барбара вся такая уютная, чистенькая, беленькая — не то что ваш Лос-Анджелес.

— Ну да, там живут все такие чистые белые люди, которые любят, чтобы все было чистое, белое, ездят все только на зеленый, спят не на улице, а по своим домам...

— Я еще долго должна слушать эти расистские речи?

— А в этой стране никаких иных, кроме расистских, и быть не может, если при взятии на работу важнее всего твоя расовая и гендерная принадлежность, того и гляди, пятый пункт введут...

— Ничего ты не понимаешь. Вот, например, если ко мне поступают два совершенно одинаковых по качеству проекта, то грант я, конечно, дам женщине, потому что в профессии их пока меньше...

Дальнейшую ее аргументацию я знал наперед — как и набор возражений, к которым мог бы прибегнуть я: что совершенно равноценных проектов не бывает; что, если таковые, паче чаяния, объявятся, достаточно подкинуть монетку; что не из чего не следует, что женщин в каждой профессии должно быть ровно столько, сколько мужчин... Но всерьез спорить мне не хотелось, и я, как пишет в таких случаях Хемингуэй, *heard myself say*:

— Да нет, это ты не понимаешь. Ничего ты никому не дашь — ты уволена!..

Произнесено это было без запала, вполне *matter of factly*, ну, разве что с некоторой долей медоточивой ядовитости, но результат был самый неожиданный: Таня бросила трубку — насколько помню, первый и единственный раз в нашей жизни.

Поняв, что произошло, я рассмеялся. Потом еще раз мысленно обозрел наш диалог — и расхохотался вслух. Когда с концерта пришла Лада, рассказал ей — и опять со смехом. Смеялся, вспоминая, и на другой день, а потом через неделю, — рассказывая по скайпу приятелю. Смеялся каждый раз от души, но постепенно стал задумываться, чего это я так смеюсь. А задумавшись, довольно быстро сообразил, чего; как известно, правильная постановка задачи — половина дела.

Решение лежало рядом (смежность по-пастернаковски диктовала сходство): среди примеров, рассматривавшихся в статье, которую я писал тем вечером, был мой любимый эпизод из фильма *Midnight Run* (1988; принятое русское название — «Успеть до полуночи»).

Одна из пружин сюжета — давний счет героя (его играет Роберт Де Ниро) к крупному мафиозо. В свое время герой, честный полицейский, пытался разоблачить преступника, но так как вся полиция города была у того в кармане, герой потерял все — работу, дом, семью — и теперь вынужден промышлять отловом беглых преступников (bounty hunting).

После забавных перипетий сюжета наступает развязка. Попад в подстроенную героем ловушку, гангстер оказывается в руках ФБР, а Де Ниро обращает к нему роскошную punch line:

— И еще кое-что, что я вот уже десять лет хочу вам сказать...

— Что?

— Вы арестованы.

Этот оборот двузначен. В буквальном смысле он просто констатирует тот факт, что адресат находится под арестом. И герой Де Ниро, конечно, рад объявить, что его заклятый враг, наконец, схвачен. Но он претендует и на «еще кое-что». В устах полицейского слова *You are under arrest* являются перформативом: произнося их, он и производит арест. Именно в таком формате герой Де Ниро давно мечтал поговорить с оппонентом.

Но опять эта проклятая амбивалентность! С одной стороны, гангстер арестован и герой, сыграв в этом ключевую роль, подает заветную реплику. С другой стороны, арест производит все-таки не он, ибо в должности полицейского он не восстановлен, перформативной силы его слова не имеют и ему приходится удовольствоваться их констативной истинностью.

Реплику Де Ниро я неоднократно приводил — в виньетках, статьях, на занятиях с аспирантами — как пример особого типа каламбура: игры не просто слов, а, по Дж. Остину, речевых актов. Фигурировала она и в статье, писавшейся в тот вечер, но убийственное *Тебя уволили* я выпалил в простоте душевной и смеялся потом снова и снова, тоже не замечая сходства двух ситуаций, — пока наконец не осознал всю его глубину.

Почему же я всегда так любил эту реплику? И так безостановочно смеялся теперь? Ну да, лингвистика, поэтика, игра слов, перипетии, развязка, punch line, speech act, — все это так, все очень профессионально, все по делу... И больше ничего? Ведь самый сильный, самый нутряной смех у нас — над самими собой. Как тут с этим? А полный порядок. Реплика именно что «про меня», вечно страдающего от командного давления власти — родительской, семейной, советской, институтской, тусовочной, военкоматской, политкорректной — и вечно мечтающего о волшебном от нее избавлении... И вдруг всё пожалуйста: отъезд, свобода слова, развод, потом гласность, перестройка, распад совка, потом отмена DEI⁷, вы все уволены и арестованы! Правда, собственный мой вклад (как и у Де Ниро) — не решающий, но так даже лучше: о, как я все угадал, меня прочли на небе, ветер по морю гуляет, мой кораблик подгоняет, кого надо увольняет.

⁷ Аббревиатура, которая расшифровывается как **Diversity, Equity, and Inclusion** (разнообразие, равенство и инклюзия).

ВЭНТРИС

Едва дописав, не важно, статью или виньетку, я посылаю сырой еще текст, первый блин комом, избранным читателям — в расчете на поправки и подсказки, за которые выражу признательность в примечаниях к публикации. Сознывая, что у людей есть и другие дела в жизни, я предупредительно добавляю, что спешки нет никакой, но воздержаться от мгновенной рассылки не могу и с нетерпением жду реакций. Тем временем свой текст я не перестаю править и шлифовать, так что иной раз уже через день с извинениями шлю адресатам новый вариант. Извинения извинениями, но я чувствую себя совершенно в своем праве, не задаваясь вопросом, почему. А недавно задался — и, кажется, понял, откуда у меня эта непроницаемая уверенность.

То есть самого простого самооправдания я не упускал из виду никогда. Работая с Игорем Мельчуком, я выучил, что серьезное отношение к своим занятиям предполагает постоянную открытость к сколь угодно свирепой критике со стороны коллег. Мельчук при этом ссылался на обычаи американских лингвистов, практиковавших подобный подход, чем и объяснял их успехи.

Все это, несомненно, так, но соавторствовать с Мельчуком я начал лишь в 60-е годы, а сейчас какой-то веселящий внутренний ветерок вдруг расшевелил во мне более ранние воспоминания.

Еще учась на филфаке, я стал слушать лекции по сравнительно-исторической грамматике Вячеслава Всеволодовича Иванова (В. В.), кумира нашей юности, которому и самому-то еще не было тридцати, стал ходить к нему на занятия по хеттскому языку, писать у него курсовую, а там и дипломную работу по структурной семантике. Он тогда только что вернулся с Международного конгресса лингвистов в Осло (1957), где познакомился со многими западными учеными, с его уст не сходили имена Бенвениста, Куриловича, Якобсона и других, его лекции бросали свет одновременно в далекую языковую древность и на волнующую лингвистическую современность. Этому способствовала его манера говорить — немного тихая, чуть ли не женственная, доверительная, но и авторитетная, с аурой посвященности в тайны, — харизматичная до мозга костей. Он во многом сформировал меня и целую плеяду других учеников (Википедия дает впечатляющий список, см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Иванов,_Вячеслав_Всеволодович>).

Одним из мировых светил, имена которых он любил упоминать, был Майкл Вентрис (Michael Ventris), англичанин, занимавшийся расшифровкой критского письма. В. В. произносил его имя на особый, интригующе иностранный лад, с [э] вместо [е], и оно до сих пор так и звучит у меня в ушах: Вэнтрис (то есть как бы Vantris). Вентрис отличался тем, что постоянно рассылал свои очередные «рабочие заметки» ученым в разных странах, а в следующих письмах обсуждал соображения, которыми те делились с ним в ответ. Этот образ великого исследователя, мало что живущего и работающего в недоступной нам Европе и занятого загадочными критскими табличками, но еще и вступающего в связь с видными коллегами по всему миру, сразу отпечатался в моем сознании. Ему прежде всего я и обязан своей приверженностью рассылке собственных опусов.

Задним числом надо сказать, что такой режим научного общения отнюдь не был стандартным — даже на благословенном Западе. Вот что писал об этом С. Я. Лурье в главе «Майкл Вентрис» своей книги «Заговорившие таблички»:

Давайте послушаем еще раз крупнейших ученых, занимавшихся микенскими надписями.

Чадуик пишет:

«Из всех известных мне людей Вентрис был более всех убежден, что между учеными должно быть широкое и открытое сотрудничество: с января 1951 года до июня 1952 года он рассылал приблизительно двадцати специалистам напечатанные на машинке „Вопросник” и „Рабочие заметки об исследовании минойского языка”. Здесь он сообщал о каждом шаге своих работ, даже обо всех своих ошибках и заблуждениях и приглашал ученых продолжать его работу и критиковать его. Вентрис так хорошо относился ко всем людям и так доверял им, что даже не представлял себе, что могут существовать ученые, завидующие успехам других».

С таким же восхищением говорит о методе работы Вентриса шведский археолог и знаток микенских надписей А. Фурумарк:

«Это единственный ученый, который раскрыл так широко двери своей научной мастерской... Это великодушие совершенно необычное... В то же время оно может служить живым упреком для всех тех ученых, которые из честолюбия и зависти до момента опубликования отгораживаются непроходимой стеной от окружающих» <http://www.sno.pro1.ru/lib/school/lurie_tablichki/9.htm>.

То есть мало что гениальный лингвист, так еще и душа-человек.

Вентрис прожил всего 34 года — погиб в автокатастрофе под Лондоном в 1956 году, в зените научной славы. Не помню, знал ли я об этом тогда, скорее всего, знал — вряд ли В. В. мог нам такого не рассказать.

Вот интересно, сохранил ли бы он свою открытость к миру, проживи он ну там еще полвека. Ой, вряд ли. Но от рассылочной мании, может, и не отказался бы. Что-то говорит мне, что, помимо научной целесообразности и общего джентльменства, есть в ней и крупница здорового нарциссизма: хочется, хочется объявить городу и миру, какой ты сегодня на зависть всем ай да Вэнтрис, ай да сукин сын.

